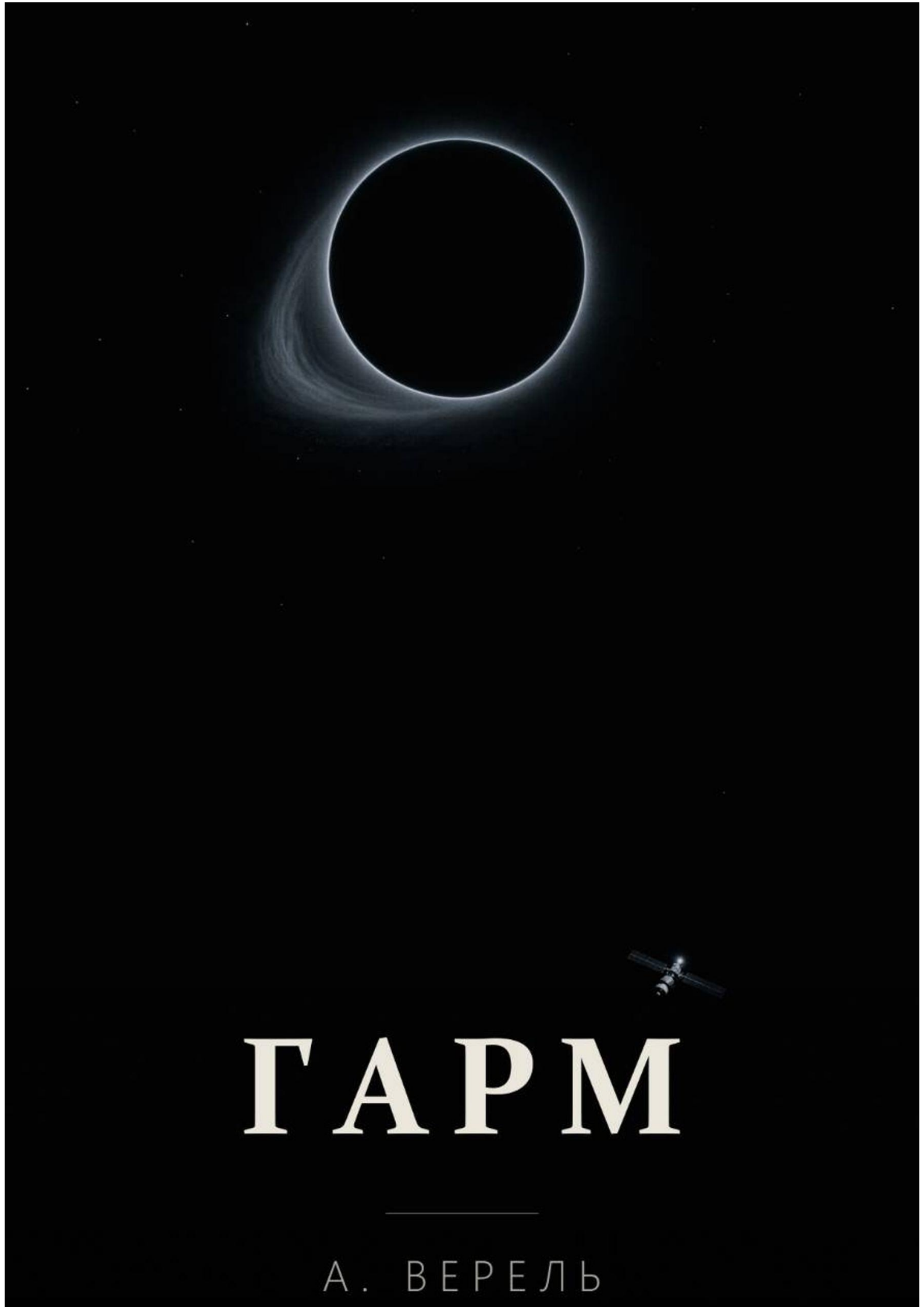


ГАРМ

А. ВЕРЕЛЬ

Абель Верель

Гарм

«Автор»
2026

Верель А.

Гарм / А. Верель — «Автор», 2026

Станция «Сторож» висит в пятистах тысячах километров от чёрной дыры Гарм. Шесть человек, четырнадцать месяцев вахты, один эксперимент: поймать информацию, которую горизонт не отдаёт.Одиннадцатый месяц. Врач Вера Одинцова слышит в наушниках голос младшей сестры. Даша утонула двадцать четыре года назад, ей было девять, тела так и не нашли.Утром девочка сидит в кают-компании и пьёт какао.Гарм не злой и ничего не хочет. Он возвращает то, что в него попало, — целиком или по частям. И чем дольше гости остаются на станции, тем меньше остаётся от тех, кто их ждал.Первое правило: гость не выходит за периметр.Второе: не рассказывай гостю, как он умер.Третье: не отдавай ему своё имя.Третье нарушат все.Космический хоррор о памяти, вине и цене, которую человек платит, когда ему возвращают того, кого он потерял.

© Верель А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Одиннадцать секунд 6
Глава 2. Девочка у иллюминатора 11
Глава 3. Плотность 16
Глава 4. Протокол гостя 22
Глава 5. Энни 26
Глава 6. Достройка 31
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Абель Верель
Гарм

А. ВЕРЕЛЬ
ГАРМ
Тихие гости. Книга первая

Станция «Сторож» висит в пятистах тысячах километров от чёрной дыры Гарм. Шесть человек, четырнадцать месяцев вахты, один эксперимент: поймать информацию, которую горизонт не отдаёт.

Одиннадцатый месяц. Врач Вера Одинцова слышит в наушниках голос младшей сестры. Даша утонула двадцать четыре года назад, ей было девять, тела так и не нашли.

Утром девочка сидит в кают-компании и пьёт какао.

Гарм не злой и ничего не хочет. Он возвращает то, что в него попало, — целиком или по частям. И чем дольше гости остаются на станции, тем меньше остаётся от тех, кто их ждал.

Первое правило: гость не выходит за периметр.

Второе: не рассказывай гостю, как он умер.

Третье: не отдавай ему своё имя.

Третье нарушат все.

Космический хоррор о памяти, вине и цене, которую человек платит, когда ему возвращают того, кого он потерял.

Глава 1. Одиннадцать секунд

Соня прислала файл в два часа ночи, без текста, только вложение, и я открыла его, потому что всё равно не спала: в последнюю неделю засыпала только под гул насоса за переборкой, и то не каждый раз. Врач, который не может наладить собственный сон, — это почти анекдот, но мне было не смешно.

Файл открывался медленно, и я успела вспомнить, как оказалась здесь: как подавала заявку, как проходила комиссию, как мать сказала, что я всегда выбираю самые трудные дороги.

В Петербурге у меня была маленькая квартира на Петроградской стороне, с окнами во двор, где зимой дворники скалывали лёд. Я работала в городской клинике, в отделении неврозов, и принимала по восемь человек в день: панические атаки, бессонница, навязчивые мысли. Я учила их дышать, считать до десяти и не верить собственному мозгу, когда он говорил им, что всё плохо.

Дома я жила одна. У меня не было ни мужа, ни детей, ни собаки. Был кот по имени Морзе, который умер за год до вахты, и после его смерти квартира стала такой тихой, что я начала включать радио, чтобы не слышать собственные шаги. Я не считала себя несчастной. Я считала себя человеком, который справился: получил профессию, купил квартиру, научился жить с тем, что было. Это была не ложь, это была правда, только не вся.

Раз в год я ездила в Выборг, на то озеро.

Я приезжала в конце августа, когда вода уже холодная, и стояла на берегу, и смотрела на островок посередине. Я никогда не заходила в воду. Я просто стояла, и считала до десяти, и уезжала обратно.

В последний раз я была там за месяц до того, как получила назначение на «Сторож». Я стояла на берегу, и было тихо, и я подумала: если бы я тогда прыгнула, ничего бы не изменилось. Лёд, холод, течение — я бы просто утонула вместе с ней, и мать осталась бы одна.

Эта мысль меня испугала. Не тем, что была жестокой, а тем, что была спокойной.

Я уехала в тот же вечер и больше на озеро не возвращалась.

Файл весил немного, а Соня прислала его мне, потому что в записи был детский голос и не было на станции никого, кроме врача, кто мог бы сказать, нормально ли это. Я нажала воспроизведение.

«Верка, это ты?»

Одиннадцать секунд, потом тишина, шорох, конец записи. Я прослушала ещё раз, потом ещё, потом поймала себя на том, что держу наушники обеими руками, будто их кто-то пытается отнять.

В дверь постучали: три коротких удара, пауза, ещё один. Так стучала только Соня, потому что считала такой ритм удобным для распознавания. Я сняла наушники и сунула плеер под одеяло — движение вышло быстрым, почти вороватым.

— Ты не спишь, — сказала она с порога, и это не было вопросом.

— Сплю глазами, а что, уже утро?

— Игнат собирает совет, через пятнадцать минут. — Соня посмотрела на мою койку, потом на стол, где лежали наушники. — Ты слушала, и не надо делать вид, что это не так.

— Слушала, и что там, по-твоему, должно быть?

— Не знаю, поэтому и спрашиваю.

Я могла сказать ей правду. Могла сказать: там голос моей сестры, которой нет двадцать четыре года, там то, чего не может быть, и поэтому я слушаю это в два часа ночи вместо того, чтобы спать. Но за одиннадцать месяцев на станции я усвоила простую вещь: если врач начи-

нает слышать голоса, у врача забирают допуск, а без допуска на «Стороже» делать нечего — тут шесть человек и один психолог, и психолог — это я.

— Помехи, — сказала я. — Как обычно, ничего нового.

Соня поджала губы и не стала спорить, хотя по её лицу было видно, что она запомнила.

— Одевайся, — сказала она и вышла, не закрыв за собой дверь.

У медотсека меня ждал Тимур.

Он стоял у стены, в спортивных штанах и растянутой футболке, и вид у него был такой, будто он не спал неделю: глаза красные, лицо серое, волосы торчат в разные стороны.

— Вера, есть что-нибудь от бессонницы?

— Есть, но сначала расскажи, сколько ты не спишь.

— Третью ночь. — Он потёр лицо ладонью. — Точнее, сплю, но плохо. Просыпаюсь в четыре и лежу.

Я открыла медотсек и пропустила его внутрь.

— Садись, померяем давление.

Тимур сел на кушетку и покорно подставил руку. Давление было нормальное, пульс — сто десять.

— Это не давление, это ты себя накручиваешь. — Я убрала манжету. — Что снится?

Он помолчал.

— Эльбрус.

Я не стала делать вид, что не понимаю.

— Расскажи мне всё по порядку.

— Мы шли в связке, я и Денис, — сказал Тимур, глядя в пол. — Он был впереди, я страховал. На подъёме он сорвался, и я держал верёвку. Держал, а потом не удержал.

— Сколько ты его держал?

— Не знаю. Секунды три, может, четыре. — Он поднял голову. — Мне потом сказали, что я всё сделал правильно, что при таком рывке удержать невозможно, что я бы сам улетел. Я всё это знаю, Вера, и я инструкции читал. Мне от этого не легче.

— Это называется вина выжившего, и она не лечится таблетками.

— А чем лечится?

— Временем и разговором. — Я достала из шкафа упаковку. — Вот, лёгкое, не привыкание. Одна таблетка за час до сна, не больше двух недель.

Тимур взял упаковку и повертел её в руках.

— Вера, а ты веришь, что мёртвые могут говорить?

Я взглянула на него.

— Почему ты спрашиваешь?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Просто когда я засыпаю, мне иногда кажется, что он рядом. Не во сне, а до сна. Как будто стоит у койки и молчит.

— Это нормально. — Я сказала это ровно, как учили. — Мозг достраивает присутствие, потому что не может принять отсутствие.

— Ага. — Тимур встал. — Спасибо, Вера.

Он вышел, и дверь закрылась, и я постояла секунду, глядя на неё, а потом подумала: я только что объяснила ему механизм, в который сама не верю.

В кают-компании пахло супом, который Марк разогрел вчера и забыл убрать. Тимур сидел на двух стульях сразу, как подросток, и листал что-то на планшете, а Лёва стоял у иллюминатора спиной ко всем и не обернулся, когда я вошла.

Игнат не стал ждать, пока я сяду.

— Восемь месяцев мы ловим шум, — сказал он, — и сегодня впервые поймали структуру. Соня, объясни коротко, без формул.

Соня включила проектор, и на стене повисла синусоида — плоская, скучная, с одним участком, где она на две секунды выпрямлялась.

— Реконструктор выделил сигнал на сорока герцах. Это не передача и не отражение, это модуляция шлейфа. — Она обвела пальцем график. — Плазма сохраняет то, что было сказано в её присутствии. Кто-то когда-то говорил рядом с Гармом, и Гарм запомнил.

— Или это помехи, — сказал Тимур, не поднимая головы от планшета.

— Помехи не отвечают, и ты это знаешь не хуже меня.

Тимур поднял голову и посмотрел на неё.

— В смысле отвечают?

— Я подала на реконструктор вопрос и через сорок минут получила ответ. — Соня вымолчала такой длины, чтобы все успели на неё посмотреть. — Я спросила: «Кто здесь?»

Марк хмыкнул, но никто не поддержал, и он замолчал. Он всегда хмыкал, когда становилось не по себе, — так у него выходило напряжение из организма, и он это знал, и всё равно хмыкал.

Игнат спросил, что ответили.

— Голос, одиннадцать секунд. — Соня кивнула в мою сторону. — Запись у Веры.

Все повернулись ко мне. У меня под ложечкой собрался холод, обычное дело, адреналин, ничего мистического, и я сказала:

— Детский голос, девочка спрашивает: «Верка, это ты?»

— Верка, — повторил Марк. — Это тебя так зовут?

— Так меня звала сестра.

— У тебя есть сестра? — удивился Тимур, и все посмотрели на него.

— Была, — сказала я, и Тимур отвёл глаза, будто извиняясь за вопрос.

Я сказала это спокойно, потому что умею говорить спокойно о том, о чём не хочу говорить: этому учат на третьем курсе, на психиатрии, и потом это остаётся навсегда, как почерк.

Лёва наконец обернулся, и в его лице не было обычной вежливой пустоты.

— Если это эхо, — проговорил он, — то чьё?

Никто не ответил, и это было хуже любого ответа. За иллюминатором висел Гарм — тусклая ржавая полоса, которую в это время суток почти не видно, если не знать, куда смотреть. За одиннадцать месяцев вахты я выучила станцию так, как выучивают собственное тело: где скрипит переборка, в каком переходе холоднее на два градуса, сколько шагов от медотсека до кают-компании, если идти не торопясь, и почему в третьем модуле всегда пахнет горячей пылью, хотя пыли там нет.

— Так, — сказал Игнат. — Слушаем внимательно, повторять не буду. Мы не знаем, что это, поэтому фиксируем, не трогаем и не рассказываем за пределами станции. Завтра Соня повторит эксперимент, но с другим вопросом. Вера, запись никому не передавать.

— Поняла, — сказала я, хотя понимала далеко не всё.

— И ещё одно, последнее. — Игнат обвёл нас взглядом, и я в который раз подумала, что он был бы хорошим капитаном на корабле, где никто не сходит с ума. — Если кто-то услышит в этом сигнале что-то личное, придите ко мне. Не к Соне, не к врачу, ко мне. Понятно, или объяснить ещё раз?

Мы кивнули, и Марк хмыкнул.

— Что тебя не устраивает? — спросил Игнат, и в его голосе появилось то, чего я раньше не слышала, — усталость.

— Ничего, просто задумался. — Марк отхлебнул из чашки, которую держал в руках всю дорогу. — Мы тут сидим в пятистах тысячах километров от дома, у каждого за спиной кладбище. Что ты хочешь услышать?

— Правду, какую бы она ни была.

— Правду все хотят. — Марк поставил чашку. — Ладно, я пошёл, у меня второй контур барахлит.

Он вышел первым, за ним Тимур, потом Лёва — молча, как всегда. Соня осталась, и молчание между нами стало плотным.

— Ты мне не сказала, что это твоя сестра.

— А должна была? — спросила я, хотя ответ знала.

— Ты сказала «помехи», а сама сидела в темноте с наушниками.

— Соня, если бы я каждый раз говорила тебе, что слышу в шуме, ты бы не занималась наукой.

Она не улыбнулась, потому что не улыбалась шуткам, которые не были про данные.

— Мне нужен исходник, — сказала она, помолчав. — Целиком, а не те одиннадцать секунд.

— Завтра, — сказала я, и это было единственное обещание, которое я могла сдержать.

— Почему не сейчас, если это важно?

— Потому что сейчас я хочу спать, а исходник — это одиннадцать секунд, а не открытие. Если мы начнём делиться им до того, как поймём, что это, мы будем делить галлюцинацию.

Она смотрела на меня ещё секунду, потом кивнула коротко, как ставят точку.

— Завтра, в девять, — сказала она, и я согласилась, хотя уже тогда знала, что в девять не приду.

В коридоре было прохладно. Я шла мимо шлюза и краем глаза поймала в круглом стекле своё отражение: уставшая женщина в мятом комбинезоне, с растрёпанным пучком, не врач и не герой, а просто человек, которому хочется спать и который только что соврал единственному человеку на станции, способному его понять.

В медотсеке я включила анализатор и прогнала запись через спектр.

Пока он считал, я вспомнила Петербург, четвёртый этаж клиники на Петроградской, кабинет с окном во двор, где зимой дворники скалывали лёд.

Ко мне ходила женщина, пятьдесят четыре года, бухгалтер, тихая, в сером пальто. У неё умер сын, двадцать шесть лет, авария. Через полгода после похорон она начала слышать его голос: он говорил с ней по утрам, когда она варила кофе, и просил не забывать закрывать дверь.

Я лечила её восемь месяцев. Объясняла механизм: мозг не может принять отсутствие и достраивает присутствие; слуховая галлюцинация — это не душа, это память, которая не нашла выхода. Я выписала ей препараты, и голос стал тише, а потом исчез.

На последнем приёме она сказала: «Вы не понимаете, он говорил со мной». А я ответила: «Это ваша память». Она поглядела на меня и больше не пришла.

Я думала тогда, что она не захотела лечиться. Теперь я сидела в медотсеке у чёрной дыры и слушала детский голос, и понимала, что она, наверное, просто не захотела, чтобы я объясняла ей её собственного сына. Голос имел три форманты, характерные для ребёнка девяти лет: высокий основной тон, узкий второй пик, лёгкий южный выговор — «Верка» с мягким «р». У Даши был такой выговор, потому что мать родилась в Ростове и говорила с ней до трёх лет, пока мы не переехали. Я проверила архив станции — голосов экипажа там не было, только служебные записи диспетчера и три учебных теста, и ни один из них не совпадал с записью даже приблизительно.

Совпадение, и ничего больше. Мозг ищет знакомое и достраивает до полного лица.

Разумно, если не думать о том, что бывает разумно.

Я выключила анализатор и некоторое время сидела в темноте, слушая, как гудела вентиляция. В медотсеке пахло спиртом и старой пластмассой, и этот запах был единственным, что здесь никогда не менялось.

В каюте я достала плеер.

Перед этим я посидела на койке и взглянула на фотографию матери, которая висела на переборке рядом с кроватью.

Мать умерла пять лет назад, в больнице на Петроградской, и я была рядом, когда это случилось. Я держала её за руку и говорила, что всё будет хорошо, хотя знала, что не будет, и в какой-то момент она открыла глаза и сказала: «Ты её так и не нашла».

Я тогда сделала вид, что не поняла, о чём она.

Она повторила: «Дашу, и ты её так и не нашла». И закрыла глаза, и больше не открыла.

Я не стала с ней спорить, потому что она умирала, и потому что она была права.

Теперь я смотрела на её фотографию и думала о том, что она ждала от меня чего-то, чего я не сделала: не похорон, не памятника, не примирения. Она ждала, что я найду сестру. Не тело — тело давно было не нужно, — а ответ.

И вот ответ пришёл. Через двадцать четыре года, из чёрной дыры, детским голосом.

«Верка, это ты?»

Я знала, что отвечать нельзя. Не потому, что кто-то запретил, — запретов тогда ещё не было. Просто я двадцать четыре года лечила людей от голосов в тишине и знала правило: не отвечай, не давай имени, не превращай шум в собеседника. Голос, которому отвечают, становится собеседником, а собеседнику можно рассказать лишнее.

На одиннадцатой секунде, уже перед самым концом, в шорохе что-то было. Раньше я не слышала, а теперь услышала — низко, на фоне, не на той же дорожке.

«Я иду», и от этих двух слов холодело в пальцах.

Я выключила плеер и положила его экраном вниз.

За переборкой гудел насос. Где-то по внутренней связи смеялся Тимур, он всегда смеялся, даже когда связь была односторонней. Я лежала в темноте и смотрела в потолок, и в голове было две мысли, которые не желали мириться друг с другом.

Первая: это шум, и никаких чудес. Мозг достраивает слова из щелчков, люди видят лица в трещинах на потолке, и это свойство мозга, а не свойство Гарма.

Вторая: шум не повторяется с точностью до миллисекунды.

Я включила плеер ещё раз, чтобы проверить, и ещё раз, и ещё, и на двадцать первом прослушивании перестала считать.

Шёпот был на том же месте, и там же, ни на миг раньше.

Глава 2. Девочка у иллюминатора

Ночная вахта на станции устроена так, что человек остаётся один со своими мыслями и с приборами.

Ночью не надо ничего решать. Ночью «Сторож» живёт сам: насосы качают воду, вентиляция гонит воздух, реле щёлкают через равные промежутки, и если сесть в рубке и выключить верхний свет, можно почувствовать, как станция дышит.

Я любила эти часы. В них не было ни пациентов, ни отчётов, ни необходимости быть врачом. Были только цифры на пульте и тишина, в которой можно было думать о чём угодно, кроме того, о чём думать нельзя.

Я садилась в кресло, ставила чайник на подставку и смотрела на диск. Гарм в это время был особенно похож на то, чем он был: на дыру. Не на объект, не на звезду, не на чудо природы, а именно на дыру — место, куда падает всё и откуда ничего не возвращается.

Однажды я спросила Соню, что она чувствует, когда смотрит на него.

— Азарт, — сказала она, помолчав. — Как перед экзаменом.

— А я ничего не чувствую.

— Это потому, что ты врач. — Она улыбнулась, но в глазах у неё не было веселья. — Врачи привыкли смотреть на то, что вызывает у людей ужас.

Я тогда не стала спорить, но она была неправа: я не привыкла. Я просто научилась не показывать.

Ночью, когда никто не видел, я иногда подходила к иллюминатору и прижималась лбом к холодному стеклу, и смотрела вниз, и думала: там, внутри, за горизонтом, осталось всё, что было когда-то, и если бы можно было заглянуть, я бы увидела озеро, лёд и девочку в мокром платье.

Это было не научное предположение. Это было желание, и я знала, что желание — плохой советчик.

Но я всё равно смотрела.

Коридор на ночной смене освещён через одну панель. Между пятнами света остаются провалы, в которых ничего не видно, и я шла по этим провалам, держась рукой за поручень, потому что после одиннадцати месяцев всё равно не привыкла к тому, как здесь пахнет ночью: озоном от вентиляции и чем-то сладковатым, вроде старого пластика.

В кают-компании было темно. Горела только аварийная полоса над входом, и в её свете иллюминатор казался не окном, а тёмным зеркалом.

У зеркала стояла девочка.

Я остановилась в дверях, и в голове успела пройти одна мысль, самая разумная: кто-то из экипажа привёл ребёнка, значит, на станции есть ребёнок, значит, произошло что-то, о чём мне не сказали. Потом девочка обернулась, и мысль кончилась, потому что это была Даша.

Ей было девять лет, и она выглядела так, как я её помнила в последний день: худые плечи, тёмные волосы, прилипшие к щекам, платье, мокрое настолько, что оно обтягивало коленки. На левом колене — ссадина, которую она получила за неделю до того, как мы поехали на озеро. Босая, и под ногами на полу блестела лужа.

— Ты долго шла, — проговорила она.

У неё был тот же голос, что в записи, только живой, без шороха, и от этого он был страшнее, потому что запись можно было переслушать, а живой голос звучал здесь и сейчас, в комнате, где не могло быть ребёнка.

Я не помню, как подошла. Помню, что присела, чтобы быть с ней на одном уровне, и взяла её за руку. Рука была холодная и мокрая, как рыба из ведра, и я почувствовала, как под кожей у неё что-то тикает — не пульс, а мелкая дрожь, будто внутри работал моторчик.

— Даша, — сказала я, и голос у меня вышел хриплым.

— Угу, — сказала она и посмотрела на иллюминатор.

— Что ты здесь делаешь?

В её лице не было ни удивления, ни радости, только терпение — так смотрят дети, которых взрослые заставляют ждать в очереди.

— Я пришла к тебе, потому что ты меня звала.

— Я не звала.

— Звала, и ты это знаешь. — Она сказала это без обиды, как факт. — Всю дорогу, пока я шла.

В горле у меня стало сухо. Я отпустила её руку и вытерла ладонь о комбинезон. На пальцах осталась вода, и я машинально подумала, что надо взять пробу, потом подумала, что сошла с ума, потом — что врач обязан проверить и то и другое.

— Постой здесь, я приведу Соню.

— Соня не увидит, потому что Соня меня не звала.

Я не стала это обсуждать. Я пошла в каюту Сони, разбудила её, и она села на койке сразу, без обычных «что, пожар»: Соня просыпалась так, будто её выключали и включали.

— В кают-компании девочка, — сказала я. — Мокрая, говорит, что это Даша.

Соня смотрела на меня две секунды, потом встала, надела комбинезон поверх пижамы, и мы пошли.

В кают-компании было пусто.

Свет я включила сразу, весь, до последней панели. На полу блестела лужа и тянулись мокрые следы — маленькие, босые, с чёткими пятками. Они шли от иллюминатора к двери, потом по коридору, потом упирались в стену между медотсеком и третьим модулем. Дальше следов не было, и стена была сухая, и это было хуже всего.

Соня присела, потрогала пол пальцем и взглянула на меня так, как смотрят на пациента, который жалуется на боль в отсутствующей ноге.

— Ты уверена, что видела её здесь?

— Я держала её за руку.

— И что у неё была за рука?

— Холодная, мокрая, и она дрожала, будто вибрировала.

Соня выпрямилась, и я увидела, что она не боится. Она думала, и это было заметно по глазам. У неё было то лицо, с которым она смотрела на графики, когда в шуме появлялась структура.

— Посмотрим камеру, там всё должно быть видно.

Камера в кают-компании висела под потолком, в углу, и писала всё, кроме угла у иллюминатора, который перекрывал шкаф. Мы прокрутили запись на 03:40.

Я вошла в кадр босиком, в комбинезоне, с растрёпанным пучком. Остановилась в дверях и постояла, будто ждала, что заговорю первой. Потом присела на корточки и протянула руку в пустоту, сказала что-то, но микрофон в кают-компании был паршивый, и слов не разобрать. Потом встала, вытерла ладонь о комбинезон и ушла.

Девочки в кадре не было.

Соня прокрутила запись ещё раз, потом ещё, замедлила, увеличила, и в какой-то момент я увидела, как воздух у иллюминатора дрожит — так дрожит воздух над горячим асфальтом, только здесь было холодно. Одна секунда, может, две.

— Это может быть помеха, — сказала Соня, но сказала она это тихо, без уверенности.

— Помехи не оставляют луж.

Мы вернулись в кают-компанию, и там ничего не изменилось: лужа на месте, следы на месте. Соня взяла пробу воды в пробирку и понесла её в лабораторию, а я пошла за ней, потому что мне нужно было чем-то занять руки.

Лаборатория занимала два отсека и была заставлена так плотно, что между приборами приходилось ходить боком. В центре стоял «Эхолот»: цилиндрическая камера из матового стекла, внутри — кольцо лазеров и подвешенный в вакууме кристалл, который Соня называла «ухом».

— Вот, — сказала она, похлопав по камере. — Это ловушка.

— Для кого?

— Для информации. — Соня открыла боковую панель и показала на схему. — Шлейф вокруг Гарма — это плазма, которая падает по спирали. Она неоднородна: в ней есть флуктуации плотности, и эти флуктуации сохраняют структуру того, что через них прошло. Как рябь на воде, только рябь остаётся.

— И вы эту рябь ловите?

— Мы её реконструируем. — Она постучала по стеклу. — Лазеры просвечивают участок шлейфа, кристалл фиксирует сдвиг фаз, а компьютер восстанавливает то, что этот сдвиг создало. Если повезёт, получается звук.

— А если не повезёт?

— Тогда получается шум. — Соня пожала плечами. — Девяносто девять процентов времени мы ловим шум.

Я смотрела на стеклянный цилиндр и думала о том, что эта штука размером с холодильник пытается услышать вселенную.

— Соня, а почему нельзя просто посмотреть запись? Если там что-то есть, почему это только звук?

— Потому что мы фиксируем только один параметр — плотность. — Она поморщилась. — Звук — это колебание плотности, поэтому он восстанавливается лучше всего. Свет, форма, цвет — всё это мы потеряли, когда плазма упала в дыру. Осталась только рябь.

— То есть мы слышим мёртвых, но не видим их.

— Мы слышим то, что от них осталось в плазме. — Соня поглядела на меня. — И это, Вера, не одно и то же.

Я хотела спросить, в чём разница, но в этот момент она открыла пробирку с водой и сунула её под микроскоп, и я увидела, как её лицо меняется.

— Что там?

— Смотри сама.

Я подошла к микроскопу и увидела в окуляре не воду, а взвесь: мелкие частицы, которые двигались в жидкости, не подчиняясь броуновскому движению, а выстраиваясь в короткие цепочки.

— Они живые?

— Они организованные. — Соня отодвинулась от микроскопа. — Вера, это не просто вода. Это вода, в которой что-то есть.

Я взглянула на неё и почувствовала, как у меня холодеют руки.

— Что именно?

— Пока не знаю. — Она закрыла пробирку и убрала её в холодильник. — Но я узнаю.

Я пошла в медотсек и сделала себе укол седативного, потому что руки тряслись, а на станции был один врач, и этот врач собирался ещё поработать.

В журнале я написала: «03:40–03:55. Гипнагогическая галлюцинация на фоне нарушения сна и стресса. Одиннадцатый месяц вахты, и это много для одного человека. Рекомендация: наблюдение, при повторе — консультация по каналу связи». Слово «консультация» я написала и стёрла два раза, потому что консультации по каналу связи были доступны только через Игната, а Игнату я не собиралась рассказывать про Дашу.

Потом я сидела на койке и смотрела на плеер, и в голове было тихо и пусто, как бывает после сильного испуга, когда тело уже поняло, что опасности нет, а мозг ещё не согласился.

Я думала о том, что Даша сказала, что Соня её не увидит, потому что Соня её не звала.

И ещё я думала о том, что девочка была босая и мокрая, а на станции не было ни одного места, где можно промокнуть: вода в душевых подавалась по таймеру, рециркулировала и уходила в дренаж, а за бортом не было ни озера, ни дождя, ничего, кроме вакуума и ржавого диска в пятистах тысячах километров.

Утром я вышла из каюты в шесть, и первым, кого я встретила, был Марк.

Он стоял у кофейного автомата в третьем модуле, в майке и шортах, и выглядел так, будто не спал вообще: под глазами мешки, щетина, волосы дыбом.

— Ты тоже не спишь? — спросил он, помолчав.

— Тоже, и это странно, — согласилась я с ним.

— Что, кошмары?

— Работа.

Марк хмыкнул и налил мне кофе из автомата, не спрашивая.

— У нас на станции работа — это отдельная форма кошмара. — Он отхлебнул из чашки. — Знаешь, что я делал сегодня в четыре утра? Проверял второй контур, и хотя он в порядке.

— Зачем тебе это нужно?

— Потому что не мог лежать. — Марк посмотрел на меня внимательнее, чем я хотела. — Вера, а ты что слышала в этой записи?

— Ничего.

— Врёшь.

— С чего ты взял?

— Потому что ты не спишь третий день, ходишь как в воду опущенная и при этом говоришь «ничего». — Он поставил чашку. — Я не лезу, но если тебе понадобится с кем-то поговорить, я умею молчать.

Я поглядела на него и вдруг поняла, что он говорит это искренне, и что за его шутками много чего спрятано.

— Спасибо, Марк.

— Не за что. — Он взял свою чашку и пошёл к лестнице. — Только не говори Соне, что я умею что-то, кроме ругательств.

Он ушёл, а я постояла у автомата ещё минуту, и в голове было что-то вроде благодарности. Мне вдруг стало важно, чтобы он не обернулся. Он не обернулся.

Потом я пошла в рубку связи, потому что в 05:45 открывалось окно связи с Землёй: двадцать минут канала, пока «Сторож» проходил над ретранслятором, и всё, что нужно было сказать домой, нужно было сказать в эти двадцать минут.

В рубке связи никого не было. Я села за пульт, ввела код и увидела, что окно уже занято: канал был активен, и в журнале висела запись — исходящее сообщение, отправленное в 05:47. Отправитель — Соня, адресат — Институт физики в Новосибирске, тема — «Первичные данные по модуляции шлейфа».

Я прочитала это три раза, и каждый раз смысл не менялся: Соня отправила запись на Землю раньше меня, хотя обещала ждать до девяти.

В 06:02 Соня вошла в рубку, увидела меня за пультом и остановилась.

— Ты рано, — произнесла она.

— Ты тоже рано, — сказала я, и это прозвучало как обвинение.

Мы смотрели друг на друга, и за переборкой кто-то уронил ложку, и этот звук показался мне очень громким.

— Ты отправила запись.

— Отправила, — сказала Соня без запинки. — Это данные, Вера. Если мы будем сидеть на них, пока ты не решишь, что это галлюцинация, мы потеряем месяц.

— Ты отправила голос моей сестры в институт.

— Я отправила сигнал сорок герц. — Она сказала это спокойно, но я заметила, как она сжала край планшета. — То, что ты слышишь в нём сестру, — это твоя интерпретация, и я не могу её учитывать, пока не пойму, что это.

— А если поймёшь?

— Тогда мы будем знать, что это, и сможем решить, что с этим делать.

За иллюминатором ржавый диск висел неподвижно, и от него не было ни тепла, ни света, ничего, что можно было бы назвать присутствием.

— В кают-компании есть следы и лужа, ты взяла пробу, что показал анализ?

Соня помолчала, и в этой паузе я услышала ответ раньше слов.

— Обычная вода с примесью солей и органики. — Она взглянула на меня. — Озерная, понимаешь? Не станционная и не конденсат.

— Повтори, что ты сказала.

— Озерная вода, Вера. Откуда на станции озерная вода?

Я не ответила, потому что ответить было нечего. Смотрела на экран, где висело её письмо, и думала о том, что Даша утонула в озере под Выборгом двадцать четыре года назад и что тела так и не нашли.

Глава 3. Плотность

Утром девочку нашёл Тимур.

В лаборатории пахло озоном и горячей электроникой.

Соня сидела перед экраном, и на нём бежала зелёная линия, и она смотрела на неё, не отрываясь, как смотрят на огонь.

— Это что?

— Спектр. — Она не повернулась. — Я прогнала запись через фильтр.

— И?

— И там есть структура. — Она показала на пик. — Вот здесь. Это не шум.

Я наклонилась к экрану и ничего не поняла.

— Объясни по-человечески.

— По-человечески: в записи есть повторяющийся рисунок. — Соня откинулась на стуле. — Как будто кто-то говорит одно и то же, но разными голосами.

— То есть это речь?

— Похоже на то. — Она помолчала, собираясь с мыслями. — Только это не звук. Это модуляция поля.

— И что это значит?

— Это значит, что мы поймали не звук, а его след. — Соня посмотрела на меня. — Как если бы кто-то крикнул в пустой комнате, а мы через час нашли в воздухе отпечаток крика.

Я села на стул.

— И чей это голос?

— Не знаю. — Она пожала плечами. — Но он повторяется. Один и тот же рисунок, много раз.

— Это может быть эхо?

— Может. — Соня кивнула и снова уставилась в экран. — Но эхо затухает. А это не затухает.

Я смотрела на зелёную линию и думала о том, что где-то там, за периметром, кто-то говорит, и говорит уже давно, и мы только сейчас научились слушать.

— Соня, а если это не эхо?

— Тогда это кто-то живой. — Она взглянула на меня. — И он хочет, чтобы его услышали.

Мы просидели в лаборатории до утра, и линия бежала по экрану, и в ней был ритм, и этот ритм был похож на дыхание.

Он вставал раньше всех, потому что по утрам у него была своя церемония: стакан холодной воды, десять минут на тренажёре, потом какао. Какао он варил по-настоящему, в кастрюльке, с молоком из порошка, и весь третий модуль знал, что в семь утра Тимур занят и трогать его нельзя.

В семь двадцать он позвонил мне по внутренней связи.

— Вера, тут ребёнок в кают-компании пьёт моё какао, — сказал он, и я услышала, как он подбирает слова.

Я успела одеться за минуту. В кают-компании стоял запах шоколада, и на диване у стены сидела Даша, подобрав ноги, в том же мокром платье, с той же ссадиной на колене, и держала двумя руками кружку, которая была почти с её лицо.

Тимур стоял в дверях кухонного блока, скрестив руки, и смотрел на неё, как смотрят на собаку, которая неизвестно откуда пришла и ведёт себя слишком спокойно.

— Ты её знаешь? — спросил он, и в его голосе было не любопытство, а надежда, что я скажу «да».

— Это Даша, моя сестра.

Тимур моргнул и посмотрел на меня так, будто я сказала что-то неприличное.

— У тебя же сестра… — Он не договорил, потому что вспомнил наш ночной разговор, и лицо у него стало совсем беспомощным.

— Да, — сказала я. — У меня была сестра.

Даша отпила из кружки и взглянула на нас по очереди, спокойно, без всякого интереса к тому, как взрослые решают, что с ней делать.

— Холодно, — сказала она, помолчав. — У вас тут всегда так холодно?

— Это станция, тут всегда холодно.

— А у меня платье мокрое.

Она сказала это не с жалобой, а как сообщение о факте, и от этого мне захотелось снять с себя комбинезон и укрыть её, и я поймала себя на этом желании, и оно мне не понравилось.

К восьми пришли остальные.

Игнат появился первым, в комбинезоне, застёгнутом на все кнопки, и остановился в дверях, не входя в комнату. Он смотрел на девочку долго, потом на меня.

— Это то, что ты услышала в записи?

— Да, и я не знаю, что с этим делать.

Игнат медленно выдохнул и посмотрел на девочку, потом на меня.

— Соня, ты можешь её померить?

Соня уже стояла рядом со сканером. Она пришла последней, с чемоданчиком, и всё это время не отвечала, но я видела, как у неё блестят глаза: не от страха, от азарта.

— Могу, но сначала вы все выйдете из комнаты.

— Почему мы должны выйти? — спросил Марк из-за её спины.

— Потому что вы дышите и греете воздух, а мне нужен фон.

Мы вышли в коридор. Дверь Соня закрыла, и через переборку было слышно, как она говорит с Дашей ровным голосом, как с прибором: руку, ещё раз, дыши, не дыши, спасибо.

Через двадцать минут она вышла и закрыла за собой дверь.

— Масса двадцать четыре килограмма, пульс девяносто, температура тридцать шесть и четыре. — Соня поглядела на нас. — Влажность кожи повышенная, но вода не конденсируется, то есть она не мокрая в обычном смысле, она как будто помнит, что была мокрой.

— Что это значит? — спросил Игнат.

— Что я не знаю, и это самое интересное.

Игнат посмотрел на закрытую дверь.

— Мы не можем держать её в кают-компании. — Он повернулся ко мне. — Медотсек, и ты за неё отвечаешь, потому что медик тут ты.

— Она ребёнок.

— Она неизвестный объект на станции, и пока мы не знаем, что это, она будет в медотсеке, с камерой и ограничением доступа, и никто, кроме тебя и Сони, к ней не войдёт.

— Это не объект.

— Вера, я видел, как ты на неё смотришь. — Он сказал это тихо, и в его взгляде было не начальническое, а человеческое, и от этого было хуже. — Поэтому и говорю: медотсек, пока я не решу иначе.

Я не стала спорить. Спорить с Игнатом, когда он говорит таким голосом, было бессмысленно, и потом, я сама не знала, что именно я хотела бы ему возразить.

Мы вышли в коридор, и он пошёл рядом, и некоторое время мы молчали.

— Вера, ты понимаешь, что тебе нельзя привязываться? — сказал он наконец.

— Понимаю.

— Нет, не понимаешь. — Он остановился. — Я видел, как ты на неё смотришь. Как будто она правда твоя сестра.

— Она и есть моя сестра.

— Это не сестра. — Игнат смотрел на меня, и в его глазах была не злость, а что-то похожее на сочувствие. — Это что-то, что приняло её вид. И если ты позволишь себе поверить, оно тебя съест.

— А ты? — спросила я, и это вырвалось раньше, чем я успела подумать. — Ты позволишь себе поверить, если придёт твой сын?

Игнат молчал долго, и в коридоре было слышно, как гудит вентиляция.

— Мой сын погиб шесть лет назад, — сказал он, помолчав. — Его звали Антон. Он уехал на Марс, когда ему было двадцать три, и я не приехал его проводить, потому что у меня была смена.

— Игнат…

— Я не сказал ему, что люблю его. — Игнат смотрел в стену. — Думал, успею. Мы всегда думаем, что успеем.

Я ничего не сказала, глядя в сторону, потому что не знала, что тут можно сказать.

— Поэтому я и говорю тебе: не привязывайся. — Игнат повернулся ко мне. — Если она уйдёт, тебе будет больно. А если она не уйдёт, будет хуже.

Он пошёл дальше по коридору, и его шаги были ровные, как метроном, и я стояла и смотрела ему вслед, и думала о том, что этот человек только что рассказал мне самое личное, что у него было, и сделал это так, будто отдавал приказ.

Дашу перевели в медотсек. Она шла сама, босиком, по холодному полу, и держалась за мою руку, и её ладонь была холодная и влажная, как вчера.

В медотсеке я её осмотрела.

Это было самое странное, что я делала за одиннадцать месяцев вахты: я осматривала девочку, которой не могло быть. Кожа тёплая на ощупь, но сканер показывает тридцать шесть и четыре, и это норма; зрачки реагируют на свет; во рту язык, зубы, всё на месте; на колене ссадина, подсохшая, с тонкой корочкой, и когда я тронула её пальцем, Даша поморщилась.

— Больно, — проговорила она.

— Извини, я не хотела делать больно.

— Ты всегда так делаешь.

— Как именно я это делаю?

— Трогаешь раны, чтобы проверить, настоящие ли. — Она перевела на меня взгляд. — Мама тоже так делала.

Я убрала руку и сделала вид, что мне нужно что-то записать.

— Даша, ты помнишь маму?

— Помню, хотя не всё, она пахла лекарствами и цветами. — Девочка сказала это просто. — У неё на левой руке не было ногтя.

Это было правдой, и от этой правды у меня похолодели пальцы. У матери не было ногтя на левом безымянном после того, как она прищемила палец дверью, и об этом не знал никто, кроме меня и Даши. Я стояла с термометром в руке и смотрела на девочку, и в голове было пусто.

— Верка-дырка, — сказала Даша.

Я вздрогнула так сильно, что выронила бы термометр, если бы не держала его двумя руками.

— Повтори, что ты сказала.

— Ты всегда так вздрагиваешь, когда я так говорю. — Она улыбнулась, и это была её улыбка, с ямочкой слева, которую я забыла и которая теперь вернулась. — Я придумала это, когда ты застряла в заборе.

— Я не застревала в заборе.

— Застревала, и я тебя вытаскивала за ноги. Головой, прямо в щель.

Этого не было, я точно знала, что этого не было: я помнила забор, помнила, как мы лазили за яблоками к соседям, но никакой головы и никаких ног там не было. И всё-таки, когда она это сказала, во мне что-то дрогнуло, будто в памяти открылась дверь, за которой была не комната, а темнота, и из этой темноты пахнуло.

— Ты придумываешь, — сказала я.

— Наверное, я путаю, — произнесла она.

Она сказала это так легко, что я не стала допытываться.

— Тебе нужно переодеться, я принесу сухое.

— Не надо, оно высохнет.

— Ты простудишься в мокром платье.

— Я не могу простудиться, Верка.

Я остановилась и взглянула на неё.

— Почему ты не можешь простудиться?

— Потому что я уже. — Она подняла на меня глаза, и в её лице не было ни горя, ни страха, только то же терпение, с которым дети объясняют взрослым очевидные вещи. — Ну, ты же знаешь.

Я стояла и смотрела на неё, а она смотрела на меня, и в медотсеке гудела лампа, и этот звук был единственным, что не давало мне сойти с места.

— Кто тебе это сказал? — спросила я, не поднимая головы.

— Никто, я просто знаю. — Она пожала плечами. — Ты меня не нашла. Я сама пришла.

Я вышла из медотсека и прислонилась спиной к стене в коридоре. Руки у меня тряслись, и я сунула их в карманы, и в правом кармане нащупала плеер, который так и не убрала с ночи.

За переборкой, в лаборатории, Соня что-то печатала, и звук клавиш шёл ровно, как метроном.

В кают-компании Марк и Тимур спорили, включать ли общий сбор, и их голоса доходили сюда приглушённо, будто из другой жизни.

А в медотсеке сидела девочка, которой не было, и пила какао из кружки, которую ей дал Тимур, и ждала, когда я вернусь.

В коридоре меня ждал Лёва с пробиркой в руке.

— Это вода из-под её ног, — проговорил он. — Я прогнал через анализатор. Она не просто структурирована: в ней есть органика, которой не должно быть.

— Что за органика?

— Планктон. — Лёва посмотрел на пробирку. — Озёрный планктон, Вера. Тот, который живёт в пресной воде средней полосы.

Я прислонилась к стене.

— То есть она принесла с собой озеро.

— Она принесла с собой то, из чего сделана. — Лёва убрал пробирку в карман. — Я не биолог в этом смысле, я не знаю, как это работает, но я знаю, что такого не бывает.

— Лёва, а ты? — спросила я, и он посмотрел на меня с недоумением.

— Что я?

— Ты никого не терял? — Я старалась говорить мягко. — Ты слушал запись, как все. Почему к тебе никто не пришёл?

Лёва ничего не говорил, и в его лице что-то менялось.

— Не помню, — сказал он наконец. — Я вообще мало что помню о своей жизни. Родители были, а как их звали — не помню. Город был, а какой — не помню. Как будто я родился в этой вахте.

— Это странно.

— Это удобно. — Он улыбнулся, и улыбка была невесёлая. — Мне нечего терять, значит, нечего бояться. Правда, теперь я не уверен, что это хорошо.

Он ушёл, а я постояла в коридоре, глядя ему вслед, и подумала о том, что этот человек пугает меня больше, чем все гости вместе взятые.

Я вернулась через десять минут. Она сидела на койке, поджав ноги, и смотрела на дверь.

— Я думала, ты не придёшь.

— Я бы пришла.

— Ты всегда так говоришь, а потом уходишь.

Я села рядом с ней на койку, и она сразу привалилась ко мне плечом, и это было так знакомо, что у меня перехватило дыхание: дети приваливаются плечом, когда устали, и им всё равно, что взрослый думает о причинах и следствиях.

— Даша, мне нужно понять, что происходит. — Я сказала это как можно мягче. — Ты можешь мне помочь?

Она подумала, и это было видно по лицу.

— Тут темно, когда ты уходишь. — Она поёжилась. — Не выключай свет, ладно?

— Ладно, я не буду выключать свет.

— И не уходи надолго.

— Хорошо, я согласна, я скоро вернусь.

Она закрыла глаза, и через минуту я поняла, что она спит, и что дышит она ровно, глубоко, как спят дети, и что от неё пахнет озером: тиной, холодной водой и немного водорослями.

— Верка, ты здесь? — спросила она, не открывая глаз.

— Здесь.

— Не уходи.

— Не уйду.

— Тут темно, когда ты уходишь. — Она открыла глаза. — Не просто темно. Пусто, как будто меня нет.

— Тебя нет, — сказала я, и это вырвалось само.

Даша не отвечала.

— Я знаю, — проговорила она. — Но пока ты рядом, я как будто есть.

Я сидела рядом и смотрела на неё, и в голове было две мысли, и обе были плохие.

Первая: это не может быть Даша, потому что Даши нет.

Я глядела на неё и знала, что передо мной не ребёнок, а сумма всех представлений о ребёнке, которые когда-либо существовали, и что спорить с ней бесполезно, потому что она знает обо мне больше, чем я сама.

Станция гудела вокруг нас, как живой организм, и я впервые подумала о том, что мы живём внутри машины, которая помнит больше, чем все мы вместе взятые, и которая не желает нам ни зла, ни добра.

Я думала о том, что человек, который всю жизнь объяснял другим, почему им больно, плохо умеет объяснять это себе, и что моя профессия была не спасением, а способом держаться подальше от собственной истории, которую я так и не решилась рассказать ни одному пациенту.

Я разглядывала зелёную линию на экране и думала о том, что мы называем шумом всё, чего не понимаем, и что если бы у нас было достаточно терпения и времени, то любой шум оказался бы чьим-то голосом, который говорит одно и то же очень давно и очень настойчиво, надеясь, что кто-нибудь однажды его услышит и ответит.

Я сидела и слушала, как гудит станция, и думала о том, что человек, который всю жизнь считал себя рациональным, легко соглашается с чудом, если чудо приходит в знакомой форме и говорит знакомым голосом.

Я слушала, как Соня говорит о модуляции поля, и понимала, что за её спокойными словами стоит нечто такое, чего ни она, ни я не можем себе представить, и что все наши приборы и формулы нужны только для того, чтобы не смотреть в эту темноту напрямую.

Вторая: она пахнет озером, а на станции нет озера.

Глава 4. Протокол гостя

Утром я проснулась от того, что кто-то ходил по коридору.

Я вышла и увидела Тимура, который шёл из третьего модуля с пустой кружкой в руке.

— Ты чего в такую рань?

— Не спится. — Он пожал плечами. — Я вчера опять слышал его.

— Дениса?

— Ага. — Тимур остановился. — Вера, а что, если это правда он? Ну, то есть не галлюцинация, а он?

— Тогда у нас большие проблемы.

— У нас и так большие проблемы, — сказал он и улыбнулся, но как-то невесело. — Просто я хочу знать, стоит ли мне надеяться.

Я посмотрела на него и поняла, что не могу ответить ни «да», ни «нет».

— Не знаю, Тимур.

— Спасибо за честность. — Он пошёл дальше. — Хоть кто-то не врёт.

Совет собрали в кают-компании в полдень, при свете всех панелей, и это было ошибкой: при полном свете станция выглядела не таинственно, а обшарпанно. На переборке у кухонного блока темнело пятно от пролитого супа, которое никто не отмыл с прошлой недели, а на столе лежала кружка Тимура с недопитым какао.

Игнат разложил на столе распечатку. Он всегда так делал, когда хотел придать разговору вес: бумага на станции была роскошью, и все знали, что если Игнат печатает, значит, дело серьёзное.

— Значит, так, — Игнат постучал пальцем по распечатке. — У нас на станции объект, который выглядит как девятилетний ребёнок, не отображается на камерах, оставляет после себя озерную воду и находится в зоне доступа двух человек. Я хочу, чтобы к вечеру у нас был протокол.

— У нас есть протокол под названием «Эхо», — сказала Соня. — Мы восемь месяцев ждали, пока в шуме появится структура.

— Структура, — повторил Игнат. — Соня, структура не сидит в медотсеке и не просит какао.

— Она просит какао, потому что мы её об этом спросили. — Соня подалась вперёд. — Это же данные, Игнат. Она реагирует на стимулы, у неё есть память, у неё есть тело с массой и температурой, и мы можем её изучать.

— Мы можем её изучать, — согласился Игнат, — но не так, как ты хочешь. Никаких тестов без моего разрешения, никаких образцов, никаких «расскажи мне про смерть».

Последнюю фразу он произнёс, глядя на меня, и я поняла, что он уже знает больше, чем я ему сказала.

— Откуда ты знаешь про смерть? — спросила я, хотя уже догадывалась.

— Я предполагаю, и, судя по твоему лицу, угадал. — Игнат откинулся на спинку стула. — И если я угадал, значит, вы обе обсуждали это без меня.

За столом стало тихо. Марк хмыкнул, но на этот раз даже не попытался сделать вид, что это шутка.

— Ладно, — Марк поставил чашку. — Давайте я скажу то, что все думают. У нас на станции появился ребёнок из записи, и у каждого из нас в записи может быть кто-то свой. Мы сидим и делаем вид, что это научная проблема, а на самом деле мы все ждём, к кому она придёт следующей.

Игнат посмотрел на него очень внимательно.

— Ты что-то хочешь сказать, Марк?

— Я хочу сказать, что протокол нужен, только не про то, как её изучать, а про то, что делать, когда она придёт к кому-то ещё.

— А почему ты думаешь, что она придёт? — спросил Лёва.

— Потому что она уже пришла, — сказал Марк и обвёл нас взглядом. — К Вере пришла, к кому-то ещё придёт. Это как простуда: если один заболел, жди остальных.

— Это не простуда, — сказала Соня.

— Это хуже простуды, — согласился Марк. — Простуда проходит.

Он сказал «когда», а не «если», и никто не стал его поправлять.

Протокол написали за час. Игнат диктовал, Соня записывала, я молчала, потому что мне нечего было сказать: всё, что я могла предложить, было на стороне Даши, а на стороне Даши не было ни одного аргумента, который выдержал бы проверку.

Получилось так.

Первое: гость не покидает зону когерентности. Периметр — два километра от станции, граница отмечена буями, за периметр не выходит ни гость, ни человек вместе с гостем.

Второе: гостю не передаются личные вещи членов экипажа. Ни одежда, ни фотографии, ни инструменты, ни записи.

Третье: гостю не сообщается информация о его смерти, болезни или обстоятельствах гибели.

Четвёртое: все контакты с гостем фиксируются, каждый разговор записывается, каждая передача предмета регистрируется.

Пятое: при появлении второго гостя экипаж собирается немедленно, и решение о дальнейших действиях принимается только совместно.

— Пятый пункт — это если придёт кто-то ещё, — сказала Соня.

— Когда, — сказал Марк.

— Когда, — согласилась Соня.

Игнат распечатал протокол в двух экземплярах, один повесил на стену в кают-компании, второй убрал в папку.

— Я не идиот, — Игнат посмотрел на нас по очереди. — Я понимаю, что бумага не остановит то, что происходит, но бумага даст нам общий язык. Когда запахнет жареным, мы хотя бы будем знать, кто что нарушил.

Мы подписали, и подписи вышли неровные: у Тимура с завитком, у Лёвы совсем мелкие, как будто он надеялся, что их не заметят.

После совета я пошла в третий модуль, потому что Марк просил принести ему кофе.

Он сидел на полу у второго контура, из которого торчал шланг, и вокруг него были разложены инструменты: ключи, отвёртки, мотки изоленты, стакан с болтами.

— Держи. — Я поставила чашку на ящик. — Ты вообще спал сегодня?

— Часа три. — Он не отрывался от шланга. — Второй контур опять барахлит, а если он встанет, у нас не будет горячей воды. А без горячей воды на станции начинается социальная катастрофа.

— Это ты так шутишь?

— Это я так живу. — Он поднял голову и улыбнулся, и улыбка была усталая. — Вера, ты не думай, что я против протокола. Я как раз за. Просто я знаю, что люди в протоколы не верят, пока не припрёт.

— А тебя припирало?

Марк помолчал, и его руки на секунду остановились.

— Припирало один раз, — он на секунду остановил руки.

— Расскажешь?

— Не сейчас. — Он снова взялся за шланг. — Сейчас у меня второй контур. Если я его не починю, вода кончится раньше, чем гости.

Я постояла ещё немного и ушла, и в спину мне стучал его ключ, и этот звук был единственным нормальным звуком за весь день.

После совета меня перехватил Лёва.

Он ждал у шлюза, делая вид, что проверяет крепления, хотя крепления проверяли утром и проверять их дважды было незачем.

— Вера, можно вопрос? — Лёва наконец посмотрел на меня.

— Можно.

— Почему она пришла к тебе?

Я взглянула на него. Лёва был самым тихим человеком на станции: он мыл руки по три раза, складывал инструменты по размеру и никогда не повышал голоса. Сейчас он смотрел на меня прямо, и в его взгляде не было обычной мягкости.

— Я не знаю, — призналась я.

— А как ты думаешь?

— Думаю, что не знаю. — Я пожала плечами. — А почему ты спрашиваешь?

— Потому что ко мне никто не пришёл. — Он сказал это ровно, без обиды. — И это странно, согласись.

— Почему странно?

— Потому что у всех есть кто-то. — Лёва аккуратно поправил крепление, которое и так было в порядке. — У тебя сестра. У Марка жена. У Игната сын, я видел фотографию. У Сони мать. У Тимура друг, он про него рассказывал. А у меня никого.

— Совсем никого?

— Совсем.

Он сказал это спокойно, и от этого спокойствия мне стало неуютно.

— Может быть, тебе повезло, — сказала я.

— Может быть. — Лёва посмотрел на шлюз, потом на меня. — Или может быть, я просто не помню.

Он ушёл, а я осталась стоять у шлюза, и в голове у меня что-то царапало, как заусенец на пальце, который не видно, но который всё время чувствуется.

Даша сидела на койке, поджав ноги, и рисовала на планшете. Она рисовала озеро: синюю полосу внизу, зелёную полосу сверху и маленькую фигурку на берегу.

— Это ты, — сказала она, не поднимая головы. — А это я.

Вторая фигурка была в воде, и от неё расходились круги.

Я села рядом и подождала, пока она отложит планшет.

— Даша, тебе холодно?

— Немного, тут всё время дует, — сказала она и поёжилась.

Я сняла куртку и накинула ей на плечи. Куртка была мне велика, а на ней висела, как пальто, и Даша улыбнулась, сунула руки в рукава и на секунду стала похожа на нормального ребёнка, которого просто забыли забрать из школы.

Протокол я нарушила через сорок минут после того, как его подписала.

Об этом я подумала позже, когда всё начало разваливаться, а тогда я думала только о том, что девочка сидит в холодном медотсеке и что куртка — это не фотография и не запись, это просто куртка, и ничего страшного не случится.

Вечером я принесла ей ужин. Она съела всё до последней ложки и попросила добавки, и я дала добавку, хотя по протоколу должна была записать в журнал каждую передачу предмета, а ужин в журнал не вписался.

— Верка, — сказала она, когда я забирала поднос. — А ты меня правда искала?

— Правда, искала, — сказала я, и это было почти правдой.

— Долго, двадцать четыре года, — сказала она и поглядела на меня.

Я не знала, что ответить. Я искала её двадцать четыре года, но не так, как ищут живых: я не звонила в полицию каждый месяц и не расклеивала объявления. Я просто жила с дырой, которая была размером с девятилетнюю девочку, и со временем научилась обходить эту дыру по краю.

— А почему не нашла?

— Не знаю, — сказала я, потому что это был честный ответ.

Она кивнула, как будто этого было достаточно, и вернулась к планшету.

Ночью я проснулась от того, что в коридоре кто-то ходил. Не шаги — шорох, будто по полу тащили что-то мягкое. Я вышла, и коридор был пуст, и свет горел через панель, как обычно.

У двери каюты Марка стояла женская туфля. Одна, с красной подошвой, на высоком каблуке, какие на станции не носят.

Я постояла, глядя на неё, потом вернулась к себе и закрыла дверь. За переборкой, из каюты Марка, доносился женский голос. Он говорил тихо, но я разобрала слова:

— Ты не виноват, — сказала женщина. — Слышишь? Ты не виноват.

Я записала в журнал ещё одну строку: «Гость не является психологическим феноменом. Гость не является галлюцинацией. Гость есть».

Потом я взглянула на эту запись и подумала, что звучит она как бред сумасшедшего, и что если кто-то прочитает её через сто лет, он решит, что мы все сошли с ума.

Может быть, мы и сошли.

Может быть, человек не создан для того, чтобы смотреть в бездну и оставаться в здравом уме.

Я закрыла журнал и посидела минуту, прислушиваясь к станции: насосы, вентиляция, реле. Обычные звуки, которые не меняются от того, что в твоей жизни появилось невозможное.

Это было самое странное: мир не менялся. Менялись только мы.

Глава 5. Энни

Марк не пришёл на завтрак, и это было первое, что меня насторожило: он всегда приходил первым, потому что считал, что человек, который не завтракает, экономит время в ущерб себе.

В девять я постучала к нему. Никто не ответил, и я постучала ещё раз, а потом нажала на панель вызова и услышала за дверью женский голос:

— Сейчас открою.

Я успела подумать, что ослышалась, потом дверь открылась, и на пороге стояла женщина.

Ей было под сорок, рыжая, с веснушками на плечах, в рубашке Марка, застёгнутой на две нижние кнопки, и босиком. В руке она держала чашку, и от чашки шёл пар.

— Вы, наверное, Вера, — сказала она, помолчав. — Марк про вас говорил.

Я стояла в коридоре и смотрела на неё, и в голове было пусто, как в выключенном терминале.

— Энни, — сказала я.

— Да, я Энни. — Она улыбнулась, и улыбка была вежливая, чуть натянутая, как у человека, который знакомится с соседкой по подъезду. — Проходите, кофе ещё есть.

В каюте Марка пахло кофе и женскими духами, и этот запах был настолько неуместен на станции, что я на секунду почувствовала себя не в космосе, а в чужой квартире.

Марк сидел на койке, одетый, с чашкой в руках, и выглядел спокойным. Не испуганным, не растерянным, а именно спокойным, как человек, который наконец-то выспался.

— Привет, — сказал он, помолчав. — Садись, кофе ещё есть.

— Марк, что происходит?

— То, что ты видишь. — Он кивнул на Энни, которая уже наливала мне кофе в чистую чашку. — Она вернулась, и я не знаю, как это объяснить, но я и не собираюсь объяснять.

— Вернулась, — повторила я, и это слово прозвучало в каюте чужим.

— Ну да, а что тут удивительного? — Он отхлебнул из чашки. — Месяц назад я поймал в реконструкторе голос. Не сказал ни Соне, ни тебе, ни Игнату. Это был её голос, Вера, я узнал бы его из тысячи.

— Почему ты молчал?

Марк посмотрел на жену, потом на меня, и в его взгляде было что-то вроде извинения.

— Потому что вы бы сказали «помехи», как ты сказала Соне.

Я не стала спрашивать, откуда он знает про мой разговор с Соней: станция маленькая, стены тонкие, а Марк всегда знал больше, чем говорил.

— И ты ничего не говорил месяц.

— Я не сразу понял, что это она. — Марк смотрел в чашку. — Сначала это был просто голос, одиннадцать секунд, я решил, что показалось. Потом я стал слушать каждый вечер, и голос начал отвечать.

— Отвечать?

— Я спрашивал: «Это ты?», и она говорила: «Да». Я спрашивал: «Ты меня видишь?», и она говорила: «Вижу». Мы разговаривали, Вера. Через реконструктор, через шум, но разговаривали.

Смотрела на него и не знала, что сказать.

— Расскажи мне всё по порядку мне про аварию, — попросила я.

Марк не ответил сразу, потом поставил чашку.

— Мы возвращались из Дублина, была ночь, дождь стеной. Я вёл, она сидела справа и что-то искала в телефоне. — Он говорил без выражения, как человек, который давно выучил

свою историю наизусть. — На повороте я не справился, машину занесло, мы влетели в отбойник. Я вышел сам, а её вытащили уже без сознания.

— И ты винишь себя.

— Я не виню. — Он посмотрел на меня. — Я знаю. Есть разница: вина — это когда ты не уверен, а я уверен. Я не справился с управлением, и она умерла.

— Марк…

— Не надо. — Он поднял руку. — Я четыре года живу с этим и научился жить. Просто теперь она вернулась, и говорит, что я не виноват, и это хуже, чем вина.

— Почему хуже?

— Потому что я не верю ей. — Он улыбнулся, и улыбка была кривая. — Она говорит, что я не виноват, а я смотрю на неё и думаю: ты говоришь так, потому что я хочу это услышать. Ты собрана из моего желания, чтобы меня простили.

В каюте стало тихо.

— Марк, — сказала Энни от стола, и мы обе обернулись. — Я говорю так, потому что это правда.

Марк посмотрел на неё, и в его глазах было столько всего, что я отвела взгляд.

— Я слушал её каждый вечер. — Марк сказал это просто, без стыда. — Одиннадцать секунд, как твоя запись, только её.

— Откуда ты знаешь про мои одиннадцать секунд?

— Игнат сказал, и он не со зла. — Марк пожал плечами. — Он хотел, чтобы мы понимали, с чем имеем дело.

Энни поставила передо мной чашку и села на стул у стены, подобрав ноги, и в её движениях было что-то домашнее, обжитое, как у женщины, которая сидела на этом стуле много раз.

— Сколько вы здесь? — Я старалась говорить спокойно, хотя внутри у меня всё дрожало.

— Со вчерашней ночи. — Энни посмотрела на Марка. — Я пришла, когда он меня позвал.

— Я не звал, — сказал Марк.

— Звал, ты просто не помнишь. — Она улыбнулась ему, и улыбка была мягкая, женская. — Ты всегда зовёшь, когда тебе плохо.

Я поставила чашку, не сделав глотка.

— Энни, вы понимаете, что находитесь на станции, где нет места посторонним?

— Понимаю, но я всё равно здесь.

— И что ваше появление невозможно?

— Понимаю, и всё-таки я здесь.

Она смотрела на меня спокойно, без вызова.

— Вы помните, как… — Я запнулась, потому что по протоколу не должна была спрашивать, и всё-таки спросила: — Вы помните последний день?

Энни помолчала, и в этой паузе было больше, чем в её словах.

— Помню, хотя не всё, как мы ехали. Дождь был, и дворники не справлялись. Марк вёл, я сидела справа и расстегнула ремень, чтобы достать телефон из сумки на заднем сиденье. — Она говорила ровно, как диктофон, и от этой ровности мне хотелось выйти из каюты и больше никогда сюда не возвращаться. — Я не успела его застегнуть.

Я взглянула на Марка. Он сидел очень прямо, и чашка в его руке дрожала.

— Марк, это правда?

— Не знаю, — сказал он и поставил чашку на пол. — Я не помню, как всё было. Я помню удар, помню, как её вытаскивали, помню, как мне сказали, что она умерла в реанимации. Всё остальное — как в тумане.

— Я расстегнула ремень, — сказала Энни. — Он не виноват, и я хочу, чтобы он это знал.

В каюте стало тихо. За переборкой гудел насос, и этот звук вдруг показался мне очень громким, как будто насос был единственным, что осталось от станции.

— Откуда вы это знаете? — Про ремень, об этом не было в отчёте.

Энни поглядела на меня, и в её глазах появилось что-то, чего там раньше не было: не страх, а усталость.

— Понимаете, я знаю то, что знаю. — Она сказала это мягко, почти извиняясь. — Вы же врач, вы должны понимать, что не всё, что невозможно, — неправда.

— Я не понимаю.

— Понимаете, просто не хотите понимать, потому что тогда придётся что-то делать.

Она встала, подошла к Марку и положила руку ему на плечо, и он накрыл её ладонь своей.

Я вышла из каюты, потому что мне стало трудно дышать. В коридоре я прислонилась к стене и постояла так, пока не прошло головокружение.

На кухне была Энни.

Она стояла у плиты и варила кофе, и это было так обыденно, что я на секунду забыла, что она не человек.

— Вера, вам с сахаром?

— Без.

— Как Марк. — Она улыбнулась, но в глазах у неё не было веселья. — Он всегда пьёт без сахара и потом морщится, когда кто-то кладёт две ложки.

— Вы помните его привычки.

— Я помню всё. — Энни налила кофе и протянула мне. — Это и есть проблема.

— Почему проблема?

— Потому что он не помнит. — Она взглянула на меня, и в её глазах было что-то, от чего мне стало не по себе. — Я помню каждый день, а он помнит только последний год. И я не знаю, что с этим делать.

— Может, рассказать ему?

— Я пыталась. — Энни покачала головой. — Он слушает и кивает, а потом смотрит на меня так, будто я рассказываю чужую историю.

Я взяла кофе и сделала глоток.

— Энни, вы понимаете, что вы не она?

— Понимаю. — Она улыбнулась, но в глазах у неё не было веселья. — Но это не мешает мне её любить.

За дверью Энни что-то тихо сказала Марку, и он ответил, и оба засмеялись — негромко, по-домашнему.

Я вернулась в медотсек. Даша спала, свернувшись под моей курткой, и на планшете у неё был открыт рисунок: озеро, две фигурки, и третья фигурка на берегу, которую она дорисовала утром. Третья была в платье, с длинными волосами, и стояла чуть в стороне.

Я не стала её будить.

В лаборатории Соня сидела над спектром и не подняла головы, когда я вошла.

— У Марка гостья, — сказала я.

— Знаю, и это самое плохое, — Соня отодвинула планшет. — Он приходил в семь, просил не включать камеру в его каюте.

— И ты не включила?

— Я включила, но в кадре только он. — Она поглядела на меня. — Как с твоей девочкой.

Я села на стул и закрыла глаза.

— Соня, она знает про ремень. Про то, что Энни расстегнула ремень за секунду до удара. Этого не было ни в отчёте, ни в деле, ни в чём.

Соня помолчала, и это было нехорошо.

— Значит, информация пришла не из документов.

— А откуда она это знает?

— Из неё самой. — Соня смотрела на меня, и в её глазах был тот же азарт, что и утром. — Вера, мы восемь месяцев думали, что ловим эхо прошлого. А может, мы ловим не прошлое, а то, что Гарм знает о прошлом, и он знает больше, чем мы.

— То есть она не лжёт.

— Она не может лгать. — Соня постучала пальцем по столу. — По крайней мере, я не вижу механизма. Ложь — это конструирование альтернативы, а она воспроизводит то, что в ней записано.

— И что это значит для нас?

Соня взглянула на дверь лаборатории, потом на меня.

— Что если она говорит правду, то Энни действительно расстегнула ремень, и значит, Марк не виноват. — Она вымолчала и добавила: — И значит, кто-то на станции получил прощение, которого не заслуживал.

Я не стала спрашивать, кого она имеет в виду, потому что ответ был и так понятен, и потому что мне не хотелось слышать его вслух.

Вечером Марк пришёл в кают-компанию вместе с Энни. Они сели рядом, и он держал её за руку, и весь экипаж делал вид, что ничего не происходит. Тимур громко рассказывал про свой второй контур, Лёва не отвечал, Игнат смотрел в тарелку.

А Энни ела суп и держала ложку так, как держат ложку люди, которые выросли в хороших домах: мизинцем чуть в сторону.

Я глядела на неё и думала о том, что она сказала: «Он не виноват».

И ещё я думала о том, что за двадцать четыре года я ни разу не слышала, чтобы кто-то сказал мне: «Ты не виновата».

Я подумала о том, что за двадцать четыре года мне никто ни разу не сказал, что я не виновата, и что я сама никогда никому этого не говорила, потому что не верила, что такие слова могут что-то изменить, а теперь слушала, как женщина, которой нет, говорит их моему другу, и понимала, что, наверное, могут, если их произносит человек, которого ты любил.

Я разглядывала Энни и думала о том, что она собрана из любви Марка, из его вины и из его памяти, и что в этом смысле она настоящая, потому что любовь не нуждается в доказательствах.

Я вышла из каюты и пошла по коридору, и в голове у меня звучал голос Энни, который говорил «он не виноват» так спокойно, будто это было самое простое на свете.

Я вернулась в свою каюту и села на койку, и несколько минут просто смотрела на свои руки.

Руки были обычные: коротко подстриженные ногти, сухая кожа, маленький шрам на левом запястье, оставшийся от ожога в интернатуре.

Обычные руки обычного человека, который работает, моет чашки, держит чужие ладони, когда сообщает плохие новости.

Я подумала о том, что годами учила людей принимать себя, и что самое простое, чему я их учила, я не умею делать сама.

Я легла и закрыла глаза, и передо мной снова встала Энни: как она сидела, как держала чашку, как говорила «он не виноват».

Я думала о ней, и мне было её жалко, и это было странно: жалеть то, что не существует.

Потом я подумала о Марке, и мне стало не странно, а тяжело.

Он жил с этим четыре года. Каждое утро он вставал и шёл в рубку, и проверял системы, и шутил, и никто не знал, что внутри у него дыра размером с человека.

Я думала о том, что мы все носим в себе такие дыры, и что работа — это способ не смотреть в них.

Я встала, налила себе воды и выпила её залпом, и посмотрела в окно, и в окне был диск, тонкий и ржавый, и он не двигался.

— Ладно, — сказала я вслух. — Работаем.

И пошла в медотсек.

Глава 6. Достройка

На третий день Даша начала рассказывать, и сначала это было безобидно: она говорила про озеро, про то, как мы ходили за яблоками, про соседскую собаку, которая боялась воды. Я слушала и ловила себя на том, что киваю, потому что всё это было правдой, и от правды становилось теплее, чем от любых доказательств.

Я помню то лето лучше, чем любой другой год своей жизни.

Мне было двенадцать, Даше девять, и мы жили на даче под Выборгом, в доме с зелёной крышей, где пахло смолой и старым деревом. Мать приезжала на выходные, а в будни мы оставались одни, и это было лучшее время: никто не говорил, что нельзя, никто не проверял уроки, и можно было целыми днями пропадать на озере.

Я часто думаю о том, как выглядел наш дом в то лето: зелёная крыша, покосившееся крыльцо, заросли малины у забора, и на веранде — старый диван, на котором мы спали днём, когда было слишком жарко.

Мать приезжала по пятницам, привозила продукты и новости, и первые часы мы ходили вокруг неё, как котята, и рассказывали всё, что случилось за неделю. Она слушала, кивала, но мысли её были где-то далеко, на работе, в городе, в другой жизни.

Я тогда думала, что она нас не любит.

Теперь я понимаю, что она просто устала: работа, дорога, две дочери, муж, который ушёл, когда Даше было три года, и никто ей не помогал.

Она любила нас так, как умела: кормила, одевала, проверяла уроки, водила к врачу. Она не говорила нежных слов и не обнимала без повода, но она была.

Я думаю об этом и понимаю, что я выросла и стала такой же: умею заботиться, но не умею говорить о чувствах. Мне проще поставить чайник, чем сказать «я тебя люблю».

Может быть, поэтому мне так легко с Марком: он тоже не умеет говорить, но умеет быть рядом.

Тем летом у нас была своя жизнь, о которой мать не знала: мы знали каждую тропинку в лесу, каждую заводь на озере, каждого соседского кота. Мы воровали яблоки в чужом саду и боялись, что нас поймают. Мы строили шалаш из веток и называли его «штаб». Мы придумали язык, на котором говорили только мы вдвоём, и он состоял из перевёрнутых слов и свиста.

Я была старшей, и я всем командовала.

Даша подчинялась, но не всегда: иногда она уходила одна на озеро, и я злилась, и искала её, и находила на берегу, где она сидела и смотрела на воду.

— Ты чего?

— Ничего. Смотрю.

— На что?

— На воду. Она как время.

Мне тогда было двенадцать, и я не понимала, что она имеет в виду.

Теперь понимаю.

Она была странным ребёнком: тихим, задумчивым, она замечала то, чего не замечали другие. Она могла полчаса смотреть на муравейник и потом сказать фразу, от которой у меня холодело в животе.

Например: «Верка, а если мы умрём, кто будет помнить, что мы жили?»

Я сказала: «Мама».

Она кивнула: «А если и она умрёт?»

Я сказала: «Тогда никто».

Она задумалась и сказала: «Это несправедливо».

Я не знала, что ей ответить, и поэтому сказала: «Пошли купаться».

Мы пошли купаться, и она смеялась, и всё было хорошо.

А через две недели её не стало.

Озеро было большое, с островком посередине, и местные говорили, что на островке раньше стояла часовня, а теперь ничего нет, только камни. Мы с Дашей спорили, кто первый доплывёт до него, и я всегда выигрывала, потому что была старше и сильнее.

Она злилась и говорила, что это нечестно, что у меня длинные руки, что она ещё вырастет и обгонит меня. Я смеялась и говорила, что не обгонит, потому что я всегда буду старше.

Теперь я думаю о том, что это было единственное время, когда мы были просто сёстрами, а не «старшая» и «младшая», не «умная» и «красивая», не «та, которая будет врачом» и «та, которая ещё не решила».

Мать любила нас одинаково, но по-разному: меня она хвалила за успехи, а Дашу гладила по голове. Я завидовала этому и думала, что меня любят за то, что я делаю, а её — просто так.

Может быть, поэтому я и сказала на кухне, что она мне надоела.

Не потому, что она действительно надоела, а потому, что мне хотелось, чтобы мать услышала, как мне тяжело. Я хотела, чтобы меня пожалели. Я не думала, что Даша стоит за дверью.

Она стояла за дверью, и она услышала.

Через две недели она утонула.

Потом она сказала:

— Там было холодно, — и не оторвалась от планшета.

Я подняла голову от журнала.

— Где именно было холодно?

— В воде, когда я тонула. — Она рисовала волны, синие и зелёные, и волны у неё выходили ровные, как на картинке из учебника. — Сначала холодно, а потом уже нет.

Я отложила ручку подальше от края стола, потому что руки вдруг стали неточными.

— Даша, ты помнишь, как это было?

— Помню, хотя не всё, как я звала. — Она сказала это спокойно, как говорят о погоде. — Я звала тебя, а ты стояла на берегу.

В горле у меня стало сухо, будто я наглоталась пыли.

— Я прыгнула за тобой, я не могла стоять.

— Ты стояла и смотрела, я тебя видела.

— Я не могла стоять, потому что ты была в воде, а я…

— Могла, — перебила она меня без всякой злости. — Ты была в красной куртке, я помню красное.

Красной куртки у меня не было. У меня была синяя, с капюшоном, и я помнила её так ясно, что могла бы описать каждую потёртость на рукаве: я помнила, как сбросила её на лёд, помнила, как лёд треснул под ногами, помнила, как вода обожгла горло.

— Даша, у меня не было красной куртки.

— Была, я же видела.

Я встала и вышла из медотсека, потому что мне нужно было подышать. В коридоре я постояла у стены, считая до десяти, как учат пациентов, и это не помогло: внутри всё дрожало так же, как тогда, на льду.

В лаборатории Соня смотрела на экран, и на экране был график массы по дням.

— Посмотри, — сказала она, не оборачиваясь, и я подошла к экрану и посмотрела на цифры: двадцать четыре ноль, двадцать четыре двести, двадцать четыре четыреста.

— Двести граммов в сутки, — сказала Соня. — Как часы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.